



В. Р. ХОВИН

Не угодно ли-с?

Сообщнику моих житейских и литературных затей, Ольге Вороновской, эти страницы посвящаю.

Что вещам «больно», это есть постоянное мое страдание за всю жизнь. Через это «больно» проходит нежность... Мне иногда кажется, что я вечно бы с людьми «воровал у Бога»... не то золотые яблоки, не то счастье, вот это убавление грусти, вот это убавление боли, вот эту ужасную смертность и «окончателность людей», что все «кончается» и все «не вечно».

В. Розанов

Многословный, велеречивый некролог?

Словесные венки на гроб умершего?

Или клятвы верности заветам его над только что засыпанной могилой?

Ну как же все это нужно над могилой Василия Розанова.

Так и должно было случиться, что умер он такой «домашней» смертью, и что тело его повезли на деревенских дрогах, и что могила его не на литературных мостках столицы, а на одиноком кладбище Черниговского монастыря, в снежных сугробах Сергиева Посада.

Так должно было случиться...

И так случилось.

Случилось у стен радостно расцветенной, расписанной Троицко-Сергиевой Лавры, дряхлого памятника старой Руси, гордо возносящего свои золотые купола над бесплодными, увы, песками нашей «Новой», позором немощи испепеленной, России.

Здесь, у этих стен, притулился Розанов, одинокий, с вздыбленной совестью, безудержный человек.

Здесь, в крохотном посаде, в таком провинциальном домике, по-прежнему «сидел у окна» он, мистик домашнего уюта, домашнего тепла, и смотрел вдаль за каменную ограду Лавры, по-верх золоченых куполов ее, смотрел, исходя своими полу-думами, полу-мыслями о человеке и родине.

И по-прежнему тихо и тяжело вздыхал.

И какой бы это ересью не показалось, но Розанов, он один из современников, был единственной совестью нашей, совестью современности.

— Пренебрег веками создаваемой благоустроенностью душ наших и морали нашей, пренебрег всякими покровами и всякой мишурой какой бы то ни было фразеологии, презрел косметику, коей так старательно украшала нас фальшивая в своей выпренности и ходульная в своей изощренности многовековая цивилизация наша, оголился донельзя, так, как никто до него и...

ЗАБОЛЕЛ.

Тяжело, мучительно заболел тяжелой и мучительной болезнью совести. И, заболев, с настойчивостью и беспощадностью маниака, с рвением и непримиримостью религиозного безумца, со словами откровений, достойными его гения, стал всенародно каяться в греховности человеческого существа своего.

...Каяться в греховности своей и так же настойчиво, так же беспощадно упорствовать в ней.

О, это было ужасное, отчаянное покаяние.

И современники не выдержали: одни зажмурили глаза, другие боязливо обходили такое страшное и такое странное по неожиданности своей, по всей обстановке своей, место казни.

.....

Умер он, успокоенный, в тихом мерцании лампад, под благовест многокупольной, золотом расцвеченной Лавры.

Умер так, как должно было только мечтаться ему раньше.

Умер и, как всегда откровенный в противоречиях, даже самой смертью своей, такой христианнейшей смертью, впал в последнее на своем жизненном пути противоречие.

Но те,

кто любил Розанова, именно любил, а не ценил как мыслителя, или как философа, или как писателя (недаром такая любовь была страшна ему самому);

кто любил его, интимнейшего из пишущих и писавших, любил особой, нежной, «домашней», что ли, любовью;

кто за каждым словом его и за каждым поступком его, как-вы бы они ни были, различал едва слышимый часто, но всегда

больной вздох, — вздох о человеке, брошенном так безжалостно, так сиротливо в этот огромный неуютный мир;

то кто бы они ни были и как бы и во что ни верили, должны, — по-человечески должны, — радоваться этому последнему противоречию его жизни....

Должны радоваться такой успокоенной смерти, и этому умиротворяющему мерцанию лампад, и этому торжественному благовесту церковному.

Сергиев Посад. Март 1919 г.

Гуляй, душенька, гуляй, славенькая,
гуляй, добренькая, гуляй, как сама знаешь.
А к вечеру пойдешь к Богу.

В. Розанов

Зачем же Ты пришел нам мешать?

*Ф. Достоевский*¹

Невзрачный, маленький, потертый такой, в пиджачишке поношенной, и с фамилией булочной — Розанов, непременно с *такой* фамилией, прибежал он впопыхах, — как же иначе, как не впопыхах, — прибежал и вывернул себя наизнанку:

— Вот-с я какой!..

Вывернул и подхихикнул только:

— Не угодно ли-с?!

И случилось это не в каком-нибудь там Скотопригонске, и отнюдь не в разгоряченной больной фантазии припадочного писателя, отнюдь нет. А в столице Государства Российского, в центре света и цивилизации. Случилось, нарушив торжественный парад идей гуманных и чаяний человеческого благополучия...

В сдавленных каменными громадами улицах бьются неслитные, разобщенные миллионы живых жизней, сдавливаются, стискиваются в единую массу живое человечье мясо, а на эстрадах, в освещении электрического света, застегнутые на все пуговицы джентльмены спасают мир и человечество пустыми ненужными словами, испепеляясь в пафосе пустой речистотчи.

— Вот-с я какой!

— Не угодно ли-с?!

И подхихикнул.

— Но, послушайте, вы же неприличны! Непристойна оголенность ваша! И это при свете *наших* истин, *наших* идей, *наших* высоких и значительных слов.

— Или, быть может, и у вас тоже есть *свои* истины? Не собираетесь ли и вы к нам, сюда, на эстраду? Оголенный проповедник!

— Учитель с судорогой слова!

— Нет, благодарю-с, я лучше с места скажу свою громовую истину:

— «Это — что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе хе!.. Ха-ха-ха!.. Ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил; я первый.

— Просто сидеть дома и смотреть на закат солнца.

— Ха-ха-ха!..

— Ей-ей, это общее религии. Все религии пройдут, а это останется: просто сидеть на стуле и смотреть вдаль» *.

А потом понесся в злобе своей:

— А вот, вы-то, вы-то неужели думаете своей пустой фразистикой, своей ходульной возвышенностью мир спасти?

— Или же и «частная» ваша жизнь такая же, такая же деланная, такая же эстрадная? Но даже и в этом случае, если вы «гармонические личности», вылежавшие свою гармонию на мягких пуховиках разжиревшей мысли, если вы действительно познали истину добра и зла, если вы познали эту истину, продающуюся оптом и в розницу всякой сволочью на рынках профессионального учительства и проповедничества, даже в этом случае, как смеете вы приходить к нам, — на улицу, и судорогу ее мерить своими бумажными аршинами?

— Или же вы небожители, гости нашей планеты?

— Но зачем же тогда наследили вы так на бутафорском троне своем?

— Но мне ли теперь по праву принадлежит:

— Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!..

И подхихикивает, подхихикивает злорадный ведун и пишет свой донос, — о, если б Богу можно было, — но пишет человечеству:

— Эй вы, самый высокопарный, самый торжественный, велеречивый, судейскую цепь надевший на себя, творящий с высоты кафедры суд над человеками, над этими неподсудными никому комками со струящейся по ним горячей живой кровью, вы слышите, проповедник, вы, говорю я:

— Снимите судейскую цепь! Я не верю вам!

— Посмотрите, ведь у вас ноги по колени в грязи, в нашей житейской грязи. Ведь от своей возвышенности по ступеням сой-

* Слова Розанова всегда в кавычках. Слова из других авторов в кавычках и в примечаниях — указание откуда.

дете вы, калиф на час, опять к нам, — к нашей «грустной жалкой действительности», к той самой, которую вы так безжалостно, так свысока осудили на заклятие во имя «высших принципов».

— Так снимите же свои судейские цепи! И я, Розанов, буду вашей совестью, и я напому вам о душевном целомудрии:

— Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие — не смотреться в зеркало.

Злобный ведун, злорадный подхихикиватель, не только целомудренен, он болен целомудрием, не тем ходульным, узколобным целомудрием «пророков и учителей», выдавших самим себе билеты на вечность, — не ханжеством целомудрия, а целомудрием болящей, судорожно напряженной творческой мысли:

— Вот-с я какой!

И когда выдали Розанову аттестат на звание Российский Ницше, или как другие олицетворили в нем демонизм новейшей формации, недаром стал отмахиваться.

И действительно,

Розанов — Ницше?!

Розанов — демонист?! Он-то, обитатель невского подполья, несуразный Дон-Кихот в пиджачишке не первой свежести, — рыцарь с голыми руками и копьем своего надорванного, болящего голоса, рыцарь прекрасной дамы правдивости *во что бы то ни стало и какой бы там ни было...*

Но только, как же это так в подпольи всю жизнь провести с правдивостью только своей? Это еще Мармеладов² у Достоевского совершенно безапелляционно заявил:

«Ведь надобно же, чтоб всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти».

Розанов тоже знает непереносимость эту, недаром и он экскурсии всякие совершал и совершает. Раз даже в революцию ушел, совсем было ушел, но только выскочила неожиданно правдивость, и Розанов споткнулся, — бегом обратно бросился.

Вовремя или не вовремя тень Прекрасной Дамы преградила путь Розанова, основательно или неосновательно было его вспять, про это судить нам не дано, ибо Прекрасная Дама — существо весьма и весьма капризное.

Теперь вот Розанов по церквям ходит, свечи ставит и решительно от каждого попа в восторг приходит. Но и это от того, что бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти.

Вот и пошел.

Вы думаете, не искренне? О, нет; с самой несомненной, с самой решительной искренностью пошел.

Вы не верите пафосу его свечечному, восторгам, им излианным? — Прикидывается, прикидывается этот разнузданно-оголенный человек с правдивостью своей непрошенной и назойливой.

Но только, как же прикидывается, когда горло спазмой захватило, — когда судорогой слова выбрасываются? Тут благолепия торжественного ждешь, за поклонами церковными жизнь устойчивую, равновесную, ан на самом-то деле — никакой устойчивости, никакого благолепия.

Розанову самому несомненным кажется, что по своей воле через церковную ограду шагнул, и шагнул, можно сказать, по всей своей органической цельности. Поклоны отбивает, а не знает, что как марионетка отбивает, на пружинке прыгает. Пружинка же к самому основному механизму ведет, в «частной жизни» оставленному.

Оттуда и идет все, — из подполья одиноческого или мансарды отъединенной.

Там-то механизм и заведен, на жизнь всю хватит, — не остановится. И заведен-то ключиком, который правдивостью «частной жизни» называется. За заклятый круг не выскочишь, повсюду своей судорогой и своими спазмами сопровождаешься.

Ведь, если покопался бы, сам вспомнил, что «вопрос»-то им давно уж разрешен: «все религии пройдут, а это останется».

Ну, а раз сам знает, что пройдут, так, конечно, благолепий и равновесий искать нечего. А вот «это» — беречь приходится. И бережет, целомудрено бережет.

Не мудрено, что нутряного целомудрия розановщины не заметили погонщики человеческого благополучия, рыцари печатного станка, разбитные приказчики потребительской лавки под фирмой «Русская журналистика». Не заметили, да и как было заметить в шуме колотушек, которым предупреждался российский обыватель об опасности, грозящей его духовному благополучию.

Сколько грошевых, истасканных слов было пущено в ход по поводу цинизма розановского, его оголенности, его злобствования. Где уж тут было услышать странные слова об «изнуряющей мечте», о том, что «суть литературы — сказать сердце», и еще много других, но таких же. Не почувствовали какой-то совсем особый, неожиданный тон их среди всех других, — злобных и доносных, ибо, конечно же, книги Розанова — книги человеческой злобы.

А между тем тон *этих* слов, слов сердца, — великолепная канва, на которой сплетает Розанов цепи своих мучительных судорог.

Книги Розанова — пороховой погреб, подведенный под самую сердцевину духовного быта современности. Недаром циклоп этот зафиксировал точку одну и сверлил ее неустанно.

Не он ли сказал:

— «Имей всегда сосредоточенное устремление, не гляди по сторонам. Это не значит — будь слеп. Глазами, пожалуй, гляди везде: но душой никогда не смотри на многое, а на одно».

Высмотрел и подкопался, с корнем вывернул древо познания добра и зла.

— «Да не воображайте, что вы нравственнее меня. Вы и не нравственны и не безнравственны. Вы просто сделанные вещи. Магазин сделанных вещей. Вот я возьму палку и разобью эти вещи.

Нравственна или безнравственна фарфоровая чашка? Можно сказать, что она чиста, что хорошо расписана, цветочки и все. Но мне больше нравится Шарик в конуре. И как он ни грязен, в сору, я, однако, пойду играть с ним, а с вами ничего».

Не подумайте только, что выращивается здесь новое древо познания добра и зла, пишет Розанов новые скрижали человеческого поведения, что, ломающий лабораторные аршины, изготовленные для установления устойчивых равновесий и гармонических сочетаний в человеческих жизнях, он незаметно подменяет их своим аршином, что, борющийся с ходульными истинами в литературных смокингах, попирающими нутрянную личную правдивость, сам растирает он в реторте месиво новой истины, универсальной, общеобязательной и общеспасительной.

О, нет! «Я не хочу истины, я хочу покоя».

«Вся история, вся наша жизнь полна загримированными Александрями и Диогенами. У всех людей миссии и все люди, чтоб спасти свое дело, принуждены скрывать многое, — быть может, самое важное и значительное для них»*.

И если угодно вам знать «важное и значительное» не Александра или Диогена какого-нибудь, а Василия Васильевича Розанова, — пожалуйста к нему, в его частную жизнь, в подполье его. Там вы услышите:

— Вот-с я какой!

И преподнесите себя «*au naturel*»**.

* Лев Шестов.

** в натуральном виде (*франц.*).

— Ах, вы хотите всеобщей истины, правды публичной — извините, дверью ошиблись. В магазин универсальный пожалуйте; там и дешевле, и прочнее, и на всякие мерки. Производство фабричное, штамп и фирмы ручательство.

— А здесь частная квартира Розанова Василия Васильевича.

— Я-то по благодущию своему подумал (это Розанов все так говорил бы), что в гости пришли ко мне, к Розанову Василию Васильевичу, — на дверях еще выгравировано.

— Я думал, поинтересоваться мною явились, частной жизнью моей.

— А вы, оказывается, совсем не так.

— Вы даже и про частную-то жизнь ничего не знаете, ничего в ней не понимаете. Какая такая частная жизнь? И почему какая-то частная жизнь Василия Васильевича Розанова интересоваться нас должна?

— Его полу-мысли, полу-чувства?

— Но только нам-то что же от них?

— Нет, знаете, нам готовая истина нужна, большая, объективнейшая; да чтоб импозантна была.

— Чтоб сразу видно было, человек о нас старался, о человечестве, и для нас. И чтоб голос уверенный был, — не мысль, а дорога шоссейная, и ухабинки чтоб ни одной.

— А тут (вдруг у меня-то, у Розанова): полу-мысли, полу-чувства. Канитель одна, не шоссе, а лестница витая, и пейзажа никакого. Мы же до смерти любим, чтоб кругом было величественно и спокойно — на чем глаз отдыхал бы.

— Вы думаете, мы про трагизмы не знаем. И о них слышали, как же не слышать: проблемы неразрешимые, провалы душевные, бездны всякие, миры двойственные, ну там, еще Бодлер, опьянение, гашиш, — про все знаем. Только на все мы сквозь призмы смотрим.

— Много их, призм рекомендованных, но только сквозь какую ни поглядишь, всякая успокоение вносит и перспективу открывает.

— Вы думаете, что через провалы и бездны уж и шоссе проложить нельзя? Отлично можно, и как еще по шоссе этому лихо пронесешься на тройке словесной, в особенности если ямщик из лихих и бывалых.

— А вы вот дома у окошечка сидите, да в судорогах и спазмах корчитесь. Эх!..

Но сидит, продолжает высиживать что-то такое Розанов, а когда помянут его, — как это, мол, можно всю жизнь «частно-житейским» своим заниматься, как это можно про «идею чело-

вечества» забыть и про все то, к чему идея эта обязывает, так он целомудренно покраснеет только, на флюс сошлетя или еще того хуже — предпочтет в конуру Шарика отправиться.

Ведь знает же, хитрец, чем идею дискредитировать. — Пустяк пустяком кажется флюс-то, а подвох в этом пустяке какой?

По-моему даже, щека, красным платком повязанная, — неопровержимое доказательство того, что действительно «частная жизнь» превыше всего. А чтоб у настоящего современного человека какой-нибудь там зуб не дергало, этому Розанов ни за что не поверит.

Сам-то он только от целомудрия о зубе своем гнилом и заговорил, и от целомудрия только часто он напраслину на себя взваливает. — Чтоб не подумали, что глаза честные делает или во «что-то» такое записался.

Нет, розановщина — розановщина и есть.

Однако не примите это и за покаяние какое-нибудь. Кого бы это Розанов своим судьей сделал? Какой такой кодекс нравственный признал бы, когда, если даже сейчас флюса и нет, то в любой момент выскочить может.

Выскочит и все кодексы прахом пойдут.

К черту истину, а вот *просто* сидеть на стуле и вдаль смотреть.

И мира-то никакого не окажется, а только нервный комочек, в частной квартире Василия Васильевича Розанова проживающий, и порядка никакого, а произвол только один, ему, Розанову, подчиненный, и Истины нет, а только правда — розановщина есть.

— «Каждая моя строка есть священное писание, и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть священное слово».

И какая упорная, глубоко личная борьба с Гуттенбергом, с литературщиной, с человеком без пульса, со словами без температуры, с пафосом без горения, — с паровым отоплением всей современной культуры, всей духовной жизни человечества. Но только — не с человеком.

Страшно разойтись с человеком!

Проблемы, Истины, Идеалы? Но как же могут, как смеют пройти с такими словами мимо одной, *только одной* «отшвырнутой» человеческой жизни?

Вы только вслушайтесь в эти слова:

«Я хочу на тот свет прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше!»
И это во всем «ни чуточки меньше».

Злоба, ненависть, клевета, доносы, все это как клещами сдавленная мысль читателя розановского, но все это нужно, все это

должно, если хоть чуточку меньше! Ведь это не какое-нибудь фразистое, позерское: «все иль ничего». Ведь спазма прерывает дыхание.

«Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла»...

Ну что ж, пророки и учителя! Пойте, если поется, состязайтесь с целомудрием этим. Но только помните, чтоб и красота ваших слов, и Истина, и гармония обещанная до дырочки на сапоге соблюдены были. Ни чуточки меньше!

Ни в коем случае не меньше!

Иначе вы только лжецы, лжепророки, фигляры на ходулях.

Ну, где же охранителям и блюстителям «возвышенности» человеческой, где же настройщикам мировой гармонии и мирового благополучия до человечности Розанова? Где же этим слюнчавым мечтателям с коробами жалких и жалостливых слов, этим беспечальным печальникам человечества, где им вынести тяготу розановской мечты.

«Презрение к мещанину имеет что-то на самом конце своем — мещанское. Я такой барин или пророк, что не подаю руки этой чуйке».

Да ведь это апология человека и человечности и напряженнейший, целомудреннейший индивидуализм.

Утверждение чуйки в чуйке, но непременно в чуйке, наряду со сладострастной, непоборимой ненавистью к человечеству, вернее, идее «человечества».

Недаром Розанов гордится так «одиначеством вещей», ибо там, где нарушается оно — нарушается и отдельность вещи, увядает душа ее, замирает боль ее и распыляется она в головокружительных безднах обобщения и схематизаций, — в безднах, в которых высятся символические кукиши с больших букв.

— «Нехорошо быть человеку одному» — говорит Розанов, и вы всегда чувствуете в розановщине тяготу одиночества. Поистине страшна петля одиночества, поистине страшно, когда человек не может хоть куда-нибудь да пойти и все же...

Все же «умей искать уединения, умей искать уединения, умей искать уединения»...

— «Бог меряет не верстами только, — пишет Розанов, — но и миллиметрами». Да и как же иначе мерить душу человеческую, как не миллиметрами? Ведь для верст-то, да и для аршин тоже, из отдельных человек тесто общее сделать нужно, то самое тесто, которое «человечеством» названо. Так и наложишь аршин на самую незаметную, но и самую больную царапину ду-

шевную, ту самую, которой, быть может, человек только жизни и касался; миллиметр же царапину эту ни за что не минует.

С миллиметром обращаясь, вдруг и окажется, что никаких больших букв в жизни-то и нет, никаких отвлеченностей, а все вокруг самого наиконкретнейшего вертится, что все из мелочей составляется. Правда, мелочь-то, так, пустяк-пустяком, вдруг верстой выскочит, и три версты этой душу во все стороны горбами разопрет. Но ведь эта верста — мера личная, произвольная и субъективно ощущаемая, а те версты, — «проблемы общие», извне предлагаемые, — к душе человеческой касательство имеют весьма относительное (какое? — об этом чуть ниже). Ими так все скважины душевные зашпигуешь, что не душа, а поверхность, хоть шаром покати, получится.

Розанов же с миллиметрами, исключительно с миллиметрами, обращается. Так и получается:

«Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Рытвины. Что это — ремонт мостовой? Нет, это — “сочинение Розанова”».

До сих пор духовная жизнь без отвлеченностей и эмпирей решительно немислима была, а этот, духом исключительно живущий и чувствилищем своим, только в конкретном, как белка в колесе, вертится. духовностью весь пронизанный, светящийся ею, — поэтом мелочей стал.

Не космос, не мироздание, а «чулок жизни», не Истина, а «флюс болит», не поэзия, а «лавка грибная в чистый понедельник».

Недаром кто-то его в бабстве обвинил, что только штаны на нем мужские, — сам об этом сообщает.

Ведь это он девушкам говорит:

«Вы охранительницы древа жизни, а не каменных ископаемых, находимых в угольных коях. Охраняйте древо жизни — вы его Ангел с мечом обращающимся, и не опускайте этот меч».

И сам поднял меч.

Действительно, нелепая, уродливая мысль человечеству пришла, что можно мимо человека взором скользнуть и мимо жизни живой, и в небесный купол упереться. От хитрости и лени исключительно произошла она.

Все, мол, пустячки и мелочи; все это покрыть идеей можно, мостик через перекинуть в пространство безвоздушное. Сами же, конечно, пустяками едино и живут, мелочами утробу свою набивают; только при «идее» безответственно все это. Безответственности одной и служит она.

А может, раньше, чем пустяк вглотнуть в себя, и следует трижды прикинуть, да помучиться. В этом быть может, и задача жизни всей?

Как же иначе требование розановское исполнится, чтоб за словом пожар или наводнение было, ужас или радость. В словесных-то стихиях, да в эмпириях воздушных, наверное, пожары и наводнения — явления весьма необычайные и, во всяком случае, опасностью никому не грозящие. Вот отсюда и вопрос: «вы думаете, что вы нравственнее меня»? Ну, конечно же, не нравственнее, да вдобавок еще во много раз подлее.

Однако, читатели, необычайной с вашей стороны глупостью было бы подумать, что я с мыслями Розанова соглашаюсь. Со многими не согласен, быть может, ни с одной даже, а все же Розанова со *всеми* его мыслями принимаю.

Пожалуй, вы подумаете так, что и Розанов свою любовь и ненависть, похвалу и хулу с согласием мыслей сочетает. Глупо рассуждать изволите, господа.

Другой пунктик есть для принятия человека и непринятия его, а касательно мыслей, то это — сущий пустяк; каждый по-своему и о своем мыслит. Здесь, знаете, другая точка есть, и вот, Розанов взял, да и назвал ее. И не только назвал, а такой спектр лучей внизал в нее, что умрет человек, точка же вечно светиться будет.

Вздохом названа она.

И не в том дело, что назвал, а что сам вздохнул и *его* вздохом слово это живет.

И мысли — мыслями, и поступки — поступками, и дела — делами, но всему этому человек предшествует. И вот эта сущность человечья, всему предшествующая, вздох душевный, за внешностью скрывающийся, вот это-то и есть первоначальное, единоважное, всепокрывающее.

Когда пышет к человечеству Розанов, когда льет ушатами грязь на него, значит, чувствовал, что человек этот — без вздоха человек. Совсем не важно, правильно ли почувствовал он, основательно ли грязью человека поливает, а почему и за что? Во имя чего?

— Безнравственный человек, оголяющийся человек, — бранят Розанова.

Действительно, не без червоточины человек, но Розанов, вероятно, то же думает, а я так совершенно убежден, что без червоточины людей вовсе и нет.

Не безнравственный человек Розанов, вы можете сказать — излишней нравственности или величайшей нравственности безнравственный человек.

Вот если бы Розанов без вздоха был, или для тех, кто вздоха его не услышал и для тех, кто о вздохе вообще ничего не знает, картина существенно меняется. Действительно, Розанов сам убежден, что не знают и что многие не услышат...

Да и как же услышать, когда сам рассказывает, что от его общественного «я» воронка идет, суживающаяся до точки, и что за этой точкой — другая воронка, уже расширяющаяся в бесконечность, где Бог его, розановский, интимный, и обитает.

Как же можно людей заставить в воронки какие-то смотреть, да через них еще что-то? Ведь это снова, значит, миллиметр в руки совать, при давнишней привычке и склонности человечества все не иначе, как верстами мерить, при склонности к масштабам грандиозным и обобщениям широчайшим.

Потому-то и уперся Розанов в «частную жизнь», что вздох — всегда в глубине и чтоб услышать его, частной жизнью Василия Васильевича Розанова заинтересоваться нужно, в квартирку его пожаловать и у окошечка с ним посидеть, — помолчать, да вдаль поглядеть.

Сам-то он недаром у окна сиднем сидел; недаром, ибо увидел вдали, что кончается один мир и новый идет.

Однако, чего возмущался я так, когда другие Розанова за Ницше принимали? Ведь сам-то я ему громадное значение придаю, сам сказал, что громадное, и в связь его поставил, в связь непосредственную, с миром новым.

И все же продолжаю я утверждать, что не Ницше Российский он, и что не какойнибудь другой Ницше, но именно он, нервный комочек, Розановым прозывающийся, в пиджачишке поношенном, от Истины флюсом отмахивающийся и в своем частно-житейском погрязший, значит, во всем противоположный тому, что привыкли мы относить к провидцам и прозревателям новых миров, что все же он, Василий Васильевич Розанов, — провидец.

И никто иной, никакой глашатай и проповедник, не мог бы быть этим провидцем, потому что и мир новый, о котором идет речь, — исключительная розановщина, поскольку последняя — величайший индивидуализм и напряженнейший интимизм.

Розанова часто с Достоевским связывают и не столько, конечно, с Достоевским, ибо кто же при всеобщей ненависти к Розанову станет его с «великим писателем» сравнивать, а с «уродливыми видениями припадочной души писателя». Или как-нибудь иначе выразятся, ну, например, про «кошмарные страницы оголенности человеческой» упомянут.

Или еще иначе, но непременно с подвохом, — про уродливость или оголенность и т. п. вспомнят, лишь бы только Розанова «унизить».

Но, вообще, все эти аналогии и параллели — вещь часто пре-противная и всегда преопасная, а ими, или почти исключительно ими, питалась до сих пор русская критика.

Иван Иванович «ищет Бога», и о том же заявляет Иван Петрович, вот и глава готова: «Искание Бога у Иван Ивановича и Иван Петровича». Раздолье критику необычайное, — цитат понадергивает, слова общие подсчитает и пошла писать: «первый Иван — предшественник», а «второй — продолжатель», или наоборот — «второй — просто подражатель первого», или еще — «во что выскочила идея первого Ивана у второго».

И не понимают, что хотя оба Ивана «Бога ищут», но совсем по-разному ищут, и заклятые враги между собой. И что вот, хотя цитаты понадерганные и совпадают, и слов общих подсчитана уйма, но это ровно ничего не доказывает, а главное, ничего не показывает.

Это правда, что у Достоевского написано: миру провалиться, лишь бы мне чаек был. Правда и то, что звучит эта фраза почти так же, как «я не хочу истины, я хочу покоя». А в «Записках из подполья», с героем этого произведения в особенности Розанова любят связать, совпадений еще больше. начать с названия «Записки из подполья», но ведь даже я говорил о подпольи Розанова, значит, оба в подпольи и пр., и пр. — вот раздолье-то!

У Достоевского вы и про созерцательную инерцию героя подпольного найдете, значит, снова о покое, и про целомудрие его сказано, даже о зубной боли есть, но все-таки это ничего не доказывает и между ними ровно ничего общего нет.

Герой «Записок из подполья» и борется-то с розановщиной, т. е. теперь, когда есть Розанов, видим мы, что и герой произведения названного по логике вещей должен сделаться Розановым. Однако все же не сделался им, а был только одним «коллежским ассесором». Розановым же сделался именно Василий Васильевич Розанов.

«Коллежский ассесор» вообще ничем сделаться не мог, — сам сознается в этом, — а ведь Розанов с пеной у рта утверждает розановщину. Если признак этот, т. е. пена у рта, налицо и у ассесора коллежского, то по причинам совсем иным, — потому что ко «всеобщему» присоединиться он не мог, «всеобщее» его самого отшвырнуло. Недаром «горбатым» уродился.

И если в отрицаниях своих он как будто бы каждую минуту и собирает Розановым обернуться, то ведь только собирает.

А на самом деле «отрицаниями» хочет он подполье свое оправдать, ими свой горб покрыть.

— Горбатым уродился, ну, вот и отрицаю вас; сами меня к себе не пускаете, а я вот сделаю вид, что и не хочу идти к вам.

Розанов же единственно от отрицания и «горбатым» стал. Любовно горб свой растил для того только, чтобы с какими-то «ими» не слиться.

Хотя коллежский ассесор как будто бы своей вывернутостью и оголенностью гордится, но на самом деле стыдится червоточины, которую открыл в себе. Розанов же совсем не стыдится. Потому-то первый и жизнь себе в подпольи сочиняет и в мечтах «героем» делается. Розанов, конечно, не представил бы себя так, как он, — «вступающим на свет Божий чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке», ибо всю свою жизнь борется и с конями белыми, и с венками лавровыми, — борется за червоточину свою:

— Вот-с я какой?!

— Не угодно ли-с?!

Коллежский ассесор, побегав по жизни и выплевав злобную слюну всю, от судорог своих к «прекрасным формам бытия переходил, совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям» *, чего бы Розанов никогда не сделал. Этот всю жизнь только и ненавидел «прекрасные готовые, сильно-украденные и приспособленные формы».

И по самому существу психологизма своего Розанов коренным образом отличается не только от героев Достоевского, но и от самого Достоевского, от всей достоевщины, ибо достоевщина — психологичность декламаторская.

Не случайно говорит Дмитрий Карамазов:

— «Что в том, что человек капельку декламирует? Разве же я не декламирую, а ведь искренен же я, искренен!»

По-моему, искренен, абсолютно искренен, и я это говорю все вовсе не к тому, чтобы решить, что лучше? — декламирующая ли достоевщина, или недекламирующая, слишком недекламирующая розановщина. Дело не в том, что лучше, а что вот, несмотря на общие места и совпадения, если б увлечься, много страниц ими заполнить можно было, несмотря на все это, достоевщина и розановщина ни в чем не похожи, по нутру своему не похожи.

А что розановщина улыбнулась бы достоевщине, встретившись с нею на одном углу, это — несомненно. Так же, как один человек со вздохом — другому.

* «Записки из подполья».

Достоевщина по самому существу своему актуальна. Все герои Достоевского не действовать не могут. Сначала поддекламируют (не укор это), психологизмом и размышлениями изойдут, а потом и к реализации себя приступают. Вот как герой подполья, который сначала с офицером чуть ли не годы сражался, затем свой своевольный нрав и собственные хотения в неподобающем обществе выявлял, потом на павшее создание воздействовать пытался. И если даже допустить, что и офицер, и бунт в неподобающем обществе, и падшее создание — фантазия сплошная, выдуманное, то *воля к реализации* все же здесь налицо.

Другое дело Розанов, — действительно самый нереализующийся человек.

— «Я никуда не торопился, полежать бы», — говорит он. Но только это — неправда о себе, точно так же, как неправда и все разговоры его об обломовщине своей.

Нерв сплошной, губка впечатлительная, — и вдруг Обломов! Обломовщиной называет он упорную усидчивость свою, вот то самое бесконечное, недвижимое сидение на стуле и вдаль смотрение, — фиксирование точки одной, пока до самого дна не докопается.

Однодум — Розанов, медлительный, вдумчивый, дна ищущий и вздох улавливающий. Не умеет того, чтобы глаза разбегались, чтобы сразу несколькими делами заниматься. Поэтому и на улицу выйти не может, а то раздавят, непременно раздавят, циклопа такого.

В другом месте правильнее о себе сказал:

«Я задыхаюсь в мыслях, и как мне приятно жить в таком задыхании».

До того задыхается в мыслях человек, что и реализоваться-то ему некогда.

И еще о том же говорит он, что пропорционально отсутствию воли к жизни было у него упорство воли к мечте.

Но так недавно еще мечту всячески поносил я и мечтателя к нулю свел, а тут вдруг «воля к мечте».

Ну и что же?!

Если у того, обуреваемого жаждой «высокого и прекрасного», героем в мечтах становящегося и выступающего на свет Божий не иначе как на белом коне и в венке лавровом, если у того мечта была, то у Розанова ее нет, или наоборот. Я как раз и убежден в этом «наоборот».

В первом случае, когда от «пошлости» житейской человек в мысли «о высоком и прекрасном» окунается, и когда мысли эти

овеществляются им в белой лошади и лавровом венке, — в этом случае ни чуточки мечты нет, а у Розанова исступленная мечтательность, изнуряющая, творческая.

— Творческая потому, что это уже не «сильно украденная форма», и пусть даже не Бог вещь какая «возвышенная», но зато наверно *своя*, интимная. Не бесплатное приложение к действительности печальной, а «дело жизни» всей, не фантом, долженствующий украшать существование человеческое, а боль его, печаль его.

Недаром даже о молитве Розанов говорит, что молитва, это — «горе Аннушки», «заключение судьбы старца Ивана» (дело идет о живописи), а не безличный и «вообще “выход из церкви”, крестный ход» и т. п.

Иначе как исполнится:

«Лишь там, где субъект и объект — одно, исчезает неправда».

Мечтательность Розанова и есть обратная сторона точки той, которой первая воронка кончается и от которой вторая расширяется в бесконечность, — к Богу. Если б без обратной стороны, т. е. без второй воронки, на Бога глядящей, так не душа у человека была, а пустышка только, а сам человек не созерцателем, а животным высокомерным. Знаем мы «созерцателей» этих, знаем скепсис их грошовый, ибо раз «обратной стороны» нет, так что же, помимо улыбки иронической и брезгливой, есть еще?

Меня всегда удивляло, как это люди мимо мечтательности розановской прошли. Прогнали и не заметили. Пусть уйма «пакостей» разбросана на страницах его, пусть циничный человек он, оголившийся, сейчас же соглашусь со всеми, если вы вот ответите мне, откуда в нем осиянность эта?

Тут, конечно, не белый конь и не венок лавровый, и тем менее «прекрасные формы», украденные у поэтов и романистов, но нечто гораздо большее, гораздо значительнее.

Недаром одной стороною душа к Богу и в бесконечность обращена.

Впрочем, быть может, и не к Богу, и не в бесконечность вовсе, ибо не скажу я, чтоб для Розанова и Бог, и бесконечность так уж несомненны были, воля к ним только бесспорна. Но если уж не Бог и бесконечность, так это — синева выси небесной через точку души его ластится к мелочам жизни человеческой. — Оттуда и просветленность слов его, лирика тона его, мягкость теней душевных, отбрасываемых им на весь внешний мир. Поистине целомудренное мечтательство, а не взвинченное, не словоблуд о «высоком и прекрасном», не блуждание

в отрешенной стихии возвышенного, не душевная обстановочная mise en scene с аксессуарами и бутафорией эстетики ходоульной.

Нет! просто кусочек синевы небесной в паутине мелочей запутался, или зайчик солнечный к пустяку какому-нибудь приник. «Что же ты любишь, чудака? — Мечту свою».

И не чудака вовсе, — чудака мало, а энтузиаст, самый подлинный энтузиаст.

От энтузиазма исключительно и вывернул себя наизнанку. Не захотел синевой небесной червоточину свою покрыть.

— Вот-с я какой! До дырочки в сапоге покажу себя, но только и кусочка синевы небесной не уступлю и зайчика солнечного тоже. Потому самим собой, Василием Васильевичем Розановым, и хочу быть, и ничем не делаюсь, и ни во что не записываюсь, — локтями в праведники не проталкиваюсь, чтоб на них право иметь.

«Лучше суеверие, лучше глупое, лучше черное, но с молитвой»!..

И в статье о картине художника Нестерова хочется ему закрыть руками левую часть картины, где стоят Спаситель и за Ним особо чтимые на Руси угодники, и в восторг приходит от другой части, где Русь молящаяся представлена.

— Русь молящаяся с косматым старцем слепым, с девочкой умиленной, с бабами, все видевшими, с сиротами-одиночками, которых били в детстве и которые голодали всю жизнь, а главное, с «чуть ли не сестрой милосердия, в белом платочке и козыньке, недоумевающей, грешной девочкой-подростком с острым и упорным, во грехах упорным лицом».

То что сказал о Нестерове — о себе должен был сказать, что не его дело писать Бога, а только как человек прибегает к Богу. Молитву, а не Того, кому молитва.

Розанов анти-«иконен» по той же причине, по какой анти-«иконен» и Нестеров. Потому что лирик он, ну, а «икона — это существо эпическое: стоит в углу и на нее взирают».

Только когда стержень Розанову надобен, когда является совершеннейшая необходимость хоть куда-нибудь да пойти, только тогда пытается он побороть анти-«иконность» свою бесконечной эпичностью православия, бытом его, тишиной его, и завешивает все углы квартиры своей потемневшими старыми образами.

Но все же, по самому существу своему, лириком остается Розанов. С молитвой только остается он. Без нее шагу не может сделать, даже когда злобной слюной плюется, даже порог грибной лавки переступая. Но обращенной не к «Богу высот», не к

надменному, высокомерному Божеству. Для этого есть другие слова у него:

«Нет, уж если поклоняться Голгофе или там страданию вообще, то потрудитесь-ка, небеса, поклониться земле: ибо “небеса” — они какие-то чугунные, или уж очень праведные, что ли: не трескаются, не болеют. Все им ничего, этим небесам; а на земле землетрясения, вулканы, голод, холера, ужасы и гадости. Но в таком случае, пожалуйста, оставьте нас в покое, оставьте вообще всю землю с вашими выспренностями и якобы идеализмом, который мне представляется преестественной гадостью».

Но нужен все же Бог ему, очень нужен. Велика в нем жажда Его. От нее единой и зажглись в руках Розанова свечи церковные.

Однако, есть ли Он или нет, но молитва розановская есть, она-то наверное есть. Не от выспренности молитва эта и не к «высотам» ведет: совсем другой источник, совсем иное устремление:

«Мне печально, что все несовершенно, но отнюдь не в том смысле, что вещи не исполняют какой-то заповеди, какого-то от них ожидания, а что самим вещам не хорошо, они не удовлетворены, им больно. Что вещам “больно”, это есть постоянное мое страдание за всю жизнь».

Единственно возможные, истинно человеческие, неоскорбительные слова.

— Слова молитвы!

«Болит душа, болит душа, болит душа»...

И пусть базарные кликуши фейерверком блестящих слов, упавших мертвым пеплом на землю, думают заглушить крик боли этой, судорогу слов, из сердца идущих.

Поистине — «благость» (т. е. учение) у них чистая, да плоти коварные» *...

Говоря о сектантах, о пророчествованиях их перед кругом братьев и сестер, о кружениях хлыстовских, пишет Розанов, что нужно же им (сектантам) в чем-нибудь, как-нибудь «вывертеть дух» свой.

Вывертеть дух?!

Кому же, как не Розанову, знать про это.

Если те (хлысты), нашедшие Бога себе, перед кругом братьев и сестер, — всем кораблем в кружении, — доходят до вакхического экстаза, то этот, жаждущий Бога, петлей одиночества измаянный, томящийся тайно, про себя, мечтой по каком-то своем

* Слова сектанта Селиванова.

«корабле» не знает ни корабельных кружений, ни религиозного вакхического экстаза.

Но сердцем болящий должен же и он «вывертеть» дух свой. И уродствует, уродствует по-своему.

С зеленых вершин радости внешней в каком-то безрассудстве бросает он дух свой в колючую изгородь мук и страданий, от примирения, кротости и всепрощения кидается к ненависти, злобе, почти изуверству.

«Ведь около всякого дневного и явного есть ночное и укрываемое. Никто не пытался связать ночь человека с его днем. А связь есть: день человека и ночь его составляет *просто одного человека*».

Но не только ночь и день, а гораздо больше сказать нужно, количественно больше. Сам показал, что не только ночь и день, а что и ночь, и день еще «пустышками» кишат, по самое горло набиты мелочами жизни душевной. Сам связал из пустыков этих человека, того самого *одного человека*, за которого потом горой стал. И ни одного «пустыка» из него уступить не захотел, хотя, если б уступил, так, быть может, и создал бы, ну плохонькую, ну невзрачную, но зато успокоительную гармонию.

Красотой пренебрег, все покровы и с дня, и с ночи стащил, хотя великолепно знал, *как* человека обнажать нельзя, и предстал перед удивленным и возмущенным человечеством:

— Вот-с я какой!

— Не угодно ли-с?!

Но и во грехах, и в уродстве, верным остался он последней радости своей, последней печали своей — молитве неустанной. Ею святеет вся розановщина, вся эта судорожная исповедь «одного человека», в одиночестве своей влекомого необузданной волей к мечте, в своем прикровенном нутряном фанатизме, предавшего себя самоистязанию во имя свое, во имя человека.

И вдруг:

— «Я невестюсь перед всем миром», — бросает он неожиданные и немного смешные слова.

Еще бы не смешные, когда он, маленький человечек злорадный с пеной у рта, когда говорит он о себе, что невестится. А, быть может, и исповеди бы не было, если б не сознался в этом, так трудно выговариваемом. И сознаться было труднее, гораздо труднее, чем в злобствованиях своих, — в ночном своем...

Но поистине невеста, томящаяся по неведомом, осиянном женихе.

И то, что сказал о другой невесте, в венке из опавших осенних листьев, — невесте заневестившейся, о нем, болью исходящем, скажется:

«Молитва, экстаз, немного сумасшествия... Что-то прекрасное, безмолвное, целое. Какая-то всемирная Офелия, как бы овладевшая стихиями природы и согнувшая по-своему деревья, расположившая по-своему пейзажи, давшая им свои краски и выражение, меланхолию, слезы, беззвучные краски»...

Домосед, скопидом, — бережливый собиратель своих полумыслей, полу-вздохов, всякой пылинки души своей, певец одинокого своего существования и одновременно инквизитор, истязаящий себя, непокорный гордец и публично кающийся грешник, соглядатай действительности, бьющейся о порог его дома, и злобный доносчик на нее, исходящий любовью и ненавистью, кроткий монастырский послушник и домашний бес, нашептывающий мелкие человеческие грешки, изувер во имя своего Бога и хулитель всякого божества и всего Божественного, замирает он в какой-то несказанной молитве, молитве-вздохе, молитве-порыве, молитве-зове.

*Август 1916 г.
Петроград—Полтава.*